



*Андрей Тавров*

## ГЕРОИНИ

### АНТИГОНА

*Ольге Соколовой*

Зачем стоят твои деревья на крови лба, олень?

Зачем на дереве, над вшами Эдипа, расточает свою кровь соловей, как ты расточал ее в смешении плоти?

Зачем от движения моего позвоночника меняется строй мира и запах розы, словно он удочка, и язык бьется на нем в солнце, разбрызгивая перламутр и жизнь в глаза ребенку?

Зачем, когда я падаю в землю, она отступает, и я падаю в бездонную яму по форме тела?

Разве она — не я?

И вот, не осталось вещей — одни позвонки и ребра, а плоть и дыханье — отдельно.

Роза ушла от розы, а сирень от сирени.

Груша вынута из себя, оставив след лба в воздухе, как след босой ступни.

И человек свит ребром в летательный аппарат, а сам ушел далеко — дыханьем и теплом перламутровой плоти.

Вьется в ребрах сердце из ребер.

Бомж в моче смотрит себе вдогонку, идущему за Луну, туда, где ночная груша согласна со стекающим млечным светом.

Сожмите мои ребра и череп в кулак, вязы священной роци, чтобы остальное странствовало, не зная сопротивления.

Как странствуют кабан, зяблик, удод, человек без кожи, плывущая в канале перегоревшая лампочка, краб. Разве не сами с себя мы стекаем, разве не похожи мы на всплывшего кашалота или подлодку?

Разожми ладонь, Антигона, разожми ладонь, пусть на ней родится твоя стопа.

А губы сфинги скажут губы сфинги, и пыль скажет пыль. И губы скажут губы.

И никто никогда не видит, куда мы уходим.

## **ДРИАДА**

Я знал, волчий бог, что ты заключена в березе. Ладонями я ощупывал кору. Потом все мое тело стало ладонями — лоб, живот, кожа спины, кожа ступней, эпителий затылка. Всем моим телом теперь я осязал тебя. И потому я состоял из коры всей своей кожей, ощупывающей ее, я был внутри коры. Я был там, где ты.

И я видел тебя удлинёнными огнем очами, но они расширились, разошлись на всю кожу, удлинены до висков, до горла, до плеч, живота, гениталий, голеностопа. До спины и земли. Залили меня светоносным зрением, как дождь — обнаженное тело. И поэтому тебя я видел со всех сторон себя. Я был внутри тебя.

И слух мой разросся, как грибная поляна по лужайке моего тела. И я слышал тебя теменем и ступней, ртом и бедрами, всей поверхностью своего божества, своего сияния, своей кожи, пронизанной капиллярами с гранатовым соком бессмертия в них. Окружая тебя, внутри тебя я был.

И я понял, что до этого не был я богом.

И вот я прикасаюсь к предметам с тех пор и, вместо содранной кожи, теперь у меня по телу растеклись все органы чувств и чувства — зрение, слух и осязание, вместе и попеременно.

Волки трутся о мои ноги, обдирая о них шерсть, как о нос лады, дымится их пакля. А я смотрю на предметы и вещи, замороженный новым объемом.

Я иду медленно. Все они преобразены мной — словно влажные, сияют у меня за спиной — те, к кому прикоснулся. Камни, девы, белые голуби, лимонные черепахи. Женщины, лежащие в постелях, и мужчины, стоящие в могилах. Дома с плотниками и кипарисы с гнездами. Нимфы и богини. Все они изменились.

Стоят у меня за спиной, пока я прохожу.

А я и не знаю, что там я оставил сзади — рай или ад.

К тому же теперь нет сзади и спереди, есть везде.

## КАССАНДРА, ДОЧЬ ПРИАМА

Пока я шел к тебе, моросил дождь, рубашка стала грязной от крови и гноя, голова намочена, а изо рта толкалась та рыба, которую мы всегда называем по-другому, словно это не она раскрывает губы в губах и тарасит бельма желатиновых глаз, будто бы плывет под водой.

А ты сидела на пустой лавочке между одной аркой и другой, рядом с кустом лавровишни. Ты была не тяжелей жука или скрепки.

Пока я шел к тебе, ты не менялась, но заворачивалась сама в себя, потому что завязи губ всасывали воздух и запах. Троя пала, к бараку напротив бассейна приезжала пожарная машина, а подвалы ушли еще глубже.

Твои слова одевали меня и разрушали меня, но не ты была им, никелированным и прицельным, хозяйка.

Быки тащили землю как плуг, Агамемнон пеленал тебя, изнасилованную Аяксом, но никто не знал, что ты придешь ко мне.

А я шел и менялся — то был жуком, то веткой, растопыренной как рука, то ежом, а то твоей смертью.

В себе-смерти я задерживался дольше обычного, потому что она была длинная-длинная, как ведро без дна, цинковая внутри, гулкая и виляла, как труба, и тогда я не мог найти своих рук, языка и ног.

Смерти бывают разные — я видел одну, ничем не отличную от меня, она была жестока, а вторая была как лужа с облаком.

Сейчас я дойду, разорвавшись от твоего перламутра, от твоего всемогущего слова, заглывающего паруса, мачты, кладбища и кротов. Вот я подхожу ближе и вижу твою белую спину, словно это мраморная колонна, словно кто-то повалил ее в кусты ежевики, в синие глаза, и она блестит под дождем.

Прощайте города, сети и ночные табуны!

Я был твоим криком, уподобляясь каждому слову — был рыбой, ведром, тихим полем, клыком вепря, мышцей Аякса. А может, этот вопль сотворил и тебя, и меня, и мы истаем на его концах, как фантомы?

Ты пришла ко мне, ты забыла, что Аякс — это я, и я выволоку тебя из храма, обесчещенную, бормочущую. Пророки ничего не помнят.

## КИПРИДА

Красный дом с красным окном, тебя я пою. Разве не из разжатого кулака розы поднимается кулак, разжимающий небо, чтобы небо разжало твою голубую грудь — о, Киприда, — с розовой отметиной, с сияющими иголками света в глазах. На Иду я поднимался, неся сгорающий дом счастья на плечах — зеленые листья шумели под ногами. Увидеть тебя и понять. Наклонись над убегающими белыми позвонками — пусть обернется, и тогда гляди — белые каменные змеи ползут в разные стороны и губы плюются и плюются старческим жемчугом.

Камень трещит, шелковая бухта качает корабль из камня и пепла, а в груди у девы бессмертный смех и воробышек у виска.

Скорчившийся мальчик — это и есть афродита, или когда с тяжким оружием идешь в каменного коня и никак не можешь протиснуться, потому что там уж очень много народа и половина мертвы.

Твои глаза видны, если раскрутить спицы велосипеда — в блеске, смущенье и шорохе, в невидимой дороге, по которой стремится алюминиевая машина, колесами вверх.

Я, как паук, качаюсь на паутине — мои мышцы стальные нитки, старческие волосы. Ты ехал в южном автобусе, мешок сухого льда жег твою спину, мертвое тело лежало в комнате в ожидании холода, и текли реки молоком и известкой.

Сперма и кровь. Разве не поднимаюсь я, отдельно от себя, в небо — папиросная машина, цельнометаллический дирижабль, обратный болид?

Разве не возвращаюсь, как рембранд, входя в отца по лопату и пояс.

Ты смотришь на реку Мацеста раскрашенными глазами — вместо отбитых рук у тебя черепахи, вместо каменного языка — красный живой, тлеет, как Кэмел ночью, на спуске, кости мои из сухого льда, твои — из гвоздики.

Посмотри, как он сидит между двух раскатов грома — обыкновенный старик.

До этого был он мочкой уха, после — лопатой.

Дистанция женского тела, дистанция коня.

Если быстро возвращаться, из тебя выйдет твоя середина, как белое веретено, как богиня с Кипра, как нагое тело в сухом льду на балконе.

И ты освободишься от них.

## ОФЕЛИЯ

Наклони срубленное дерево — увидишь фигуру. Наклони срубленную реку — увидишь зеленое платье. Зеленое платье, шевелящаяся корона в ветре реки, в источниках, плавниках. Вот дева лежит, приоткрыв глаза, вот молния тает в ней — от зигзага и вольтовой мощи до тихих капилляров покоя, румянца на ланях-ланитах, до самого плавного тела — вот корона. В серебре чешуи, в чешуйках век плывет, но не движется — как форель стоит под мостом, а в губах гул и гам. А в губах гул и гам — города, мантикоры, леопарды, базилик да рута, да мята. Дыханье уходит из губ, поцелуй входит в губы, создавая их на ходу там, где их не было, оставляя как след.

Кто убил тебя дева-корона?

В реке-речи стоишь, песни колючие поешь — в любом горле ты ерш, в любом — раздираешь трахею и глотку. Что мы забыли у подола и горла своего, чью смерть сторожим, чью песню подслушиваем, за каким нагим телом подглядываем, какой лай колеблет нас как водоросли?

Белое лицо, как мамина ночь, как локоть брата. Роза и рвота на губах твоих — были едино, теперь разошлись, а вот и снова сошлись, дева-рыба.

Столько ртов-чешуек — любая скважина — рот. Сколько же ртов в твоём рту? Сколько губ в губах — как поцелуев, как слов, как ударов сердца, перламутровая, холодная!

Никто уже не дотянется до тебя — ушла вместе с сумасшедшей песенкой в юность мою, в деревянные санки на белом снегу с кровью и следом собаки. Разве что звезда, разве что черепаха... ни Дант флорентинец, ни горб с травой, ни адамов язык. Скатанный снежок с речью внутри, пущенный плыть по реке, разве не он висит меж двух подков — мужской и женской, когда он хочет войти туда, откуда вышел, а она принять то, что отдала.

—[НО]—

Невесомый снежок — колтун в волосах, жабий шар за языком,  
рыбий пузырь!

Зачем мы вдыхаем? — Чтобы родиться. Зачем выдыхаем? —  
Чтоб быть.

Чтобы быть и стоять в пузырях, стоять в пузырях, стоять в пу-  
зырях, вздымающихся со дна.

Серебряных, как язык удлинённых.

Стоять, не колеблясь.

